

Алексей Макушинский

Семь эссе. Из книги «Вслед за кистью»

Любовь к относительному

В моей жизни бывали эпохи, когда стремление к безусловному, необходимому, неслучайному, абсолютному так сильно мною владело, что почти все казалось мне, и значит – оказывалось для меня, случайным, необязательным, в сущности неоправданным. Есть белый слепящий свет, перед которым меркнут все краски. Они и меркли в такие эпохи жизни; мир становился не черно-белым, но бело-серым, так скажем, с этим слепящим светом в нем, или вне его, и различными оттенками серого, градациями необязательного, сумерками случайностей. Что есть это – безусловное, необходимое и т.д.? Вопрос, на который у меня нет, конечно, ответа (если бы он у меня, или вообще у кого-нибудь, был, история бы, наверное, завершилась, наступила бы новая земля, новое небо). Но что бы это ни было, это, во всяком случае, что-то – вот, если угодно, самое общее определение – впрямую затрагивающее центр, суть и стержень моего существования, что-то «самое главное», «самое важное», может быть – «единственно важное» для меня, отвечающее на все вопросы, разрешающее все сомнения. Не обязательно даже верить, что оно *есть*. Оно и не может, разумеется, *быть* так же, как есть камень или дерево, или как я есмь. Оно может быть самым бытием – и уже хотя бы потому не может им быть, что бытие очевидно вообще не может – *быть*, иначе было бы бытие бытия, и бытие бытия бытия и так далее до пресловутой дурной бесконечности. Поэтому так соблазнительно мыслить его как что-то, превышающее сами понятия бытия или небытия, превосходящее вообще все понятия, уходящее по ту сторону слов. Но как бы его ни мыслить, как нечто, или как Ничто или как некоего Некто, достаточно самой этой мысли о нем, самого стремления к нему, чтобы сделать его если не сущим вообще и в принципе, то, во всяком случае, сущим, присутствующим в наших стремлениях и мыслях, следовательно – в нашей жизни, фактом и фактором этой жизни, без которого она и сама уже делается немислимой. В моей жизни бывали, следовательно, эпохи, когда стремление к этому безусловному, неизбежному, абсолютному так сильно овладевало мной, что все остальное и прочее, не только мои какие-то повседневные действия, поход в магазин и уборка квартиры, и не только все, связанное с зарабатыванием денег, иначе говоря – не

только все то, что я, как и любой другой человек, делать *вынужден*, казалось мне и оказывалось для меня чем-то случайным, необязательным, неоправданным, но и все то, или почти все, удивительным образом, что я всегда, в общем, делать *хотел* и *хочу*, все то, что входило и входит в сферу моих подлинных, собственных, никем не навязанных мне интересов – философия, абстрактная мысль, вообще «идеи» («идеи», впрочем, этого, может быть, как раз заслуживают), история, даже музыка, живопись, главное – литература, стихи, и проза, и прочее. Или, вернее, все это оказывалось оправданным лишь в той мере, в какой *соотносилось* с безусловным и обязательным; в какой было *о том же*; говорило о нем и к нему отсылало. И конечно, бывали, как, наверное, у всех бывают, мгновения, когда с ним соотносилось, к нему отсылало – все; мгновения счастья, если угодно, силы и радости; мгновения, когда все кажется убедительным, обязательным, *правильным*; когда божественное присутствие ощущается в чем угодно, в игре света, в голосах за стеной. Но как бы то ни было, без этого соотнесения, этой отсылки к божественному ничего не существовало, не *убеждало*; не существовало, значит, само по себе, «из себя»; нуждалось в оправдании, в обосновании. Мгновения счастья проходили, они всегда проходят, мир погружался обратно в свой серый сумрак, в непреодолимое *зачем?* непобедимое *ну и что?* Ах да, все это замечательно, интересно, чудесно, и стихи мы любим, что говорить, и Пруст великий писатель, кто ж спорит – но вы дайте мне ответ на мой *самый главный вопрос*, но вы разрешите мое *основное сомнение*, но вы избавьте меня от этого *непрерывного чувства неудовлетворенности*, как будто уже и неотделимого, вообще, от жизни, от протекания времени, от движения дней... Не можете? Тогда что мне все это, что мне во всем этом... Однако и эти эпохи жизни, конечно, заканчивались; акценты снова смещались; потребность в *немедленном ответе* ослабевала; наоборот – способность испытывать интерес, или влечение, или, скажем решительнее, любовь к чему-то самому по себе, без всякой связи с отсутствующим ответом, вновь пробуждалась, усиливалась, развивалась. Получалось, следовательно, что можно жить, писать стихи, слушать музыку, ездить в Рим или в Новгород, не просто в отсутствии ответа, но не задавая и самого вопроса, удерживая вопрос, вынося его за скобки, откладывая на потом, на когда-нибудь, быть может – на никогда. Ответа нет, избавления не будет, и ни Пруст, ни Моцарт, ни Рембрант, ни Рильке ответа, разумеется, не дадут, дать не могут, но Рембрант, тем не менее, остается Рембрантом и Моцарт Моцартом, и наши собственные опыты, в стихах ли, в прозе, не принося избавления, во всяком случае – утешают, и придают смысл и перспективу нашему в остальном сколь угодно постылому существованию. Муза,

писал Овидий, приходит к нам, как отдохновение от забот и как врач, *tu curae requies, tu medicina venis*. Больше того – все это потому только и возможно, что ответа нет и вопрос удержан, вынесен за скобки, оттеснен на поля. Искусство, скажем иначе, существует, то есть осуществляется, под знаком неопределенности, нерешенности, сомнения, если угодно – непросветленности. Если ответ есть – искусство заканчивается за ненадобностью. Если жизнь сводится к поискам ответа, искусство тоже делается ненужным. Святые стихов не пишут. По крайней мере, не пишут их *всерьез*, ради самих стихов. Поэтому нет, не было и никогда не будет никакого, в строгом смысле, «религиозного искусства», не надо себя обманывать. Возможны, конечно, влияния и даже – поскольку цивилизация все-таки едина и без религии немыслима – невозможно их отсутствие, но сама интенция искусства иная, и предпосылки, и цель, «откуда» и «куда» не такие. А между тем, поэзия, как известно, есть Бог в святых мечтах земли; поэзия все равно, конечно, *о том же*, о «самом главном». Но она как бы *ненароком* о том же. Она об этом как бы не помнит, и *должна* не помнить, вот в чем все дело. Она может быть о погоде или о пагоде, о ветре, о вербе, о Неве, о – неважно о чем. И она действительно должна быть об этом, то есть Нева и погода должны занимать ее сами по себе, безотносительно к чему бы то ни было, точно так же, как занимают нас они и она. Нет ничего хуже нарочитой поэзии о божественном, опускающей земные вещи, земные чувства на уровень простого примера. Одного лишь не следует забывать – речь, возможно, идет о *выборе*, причем о выборе, возможно, роковом. Чего же ты хочешь, говорит, из темноты в углу комнаты возникая, волшебник, улыбаясь в бороду – тролль, чего же ты хочешь – спасенья или стихов, что тебе дороже – сатори или сонет? За одно хорошее стихотворенье пожертвуешь ли вечным блаженством? Выбирая относительное, в нем и останешься, выбирая случайное, на него и обрекаешь себя. В нем пребудешь, в нем растворись... Утешаться остается лишь воображаемостью этого разговора, отсутствием тролля даже в самом темном углу. Кто знает, перед каким выбором мы действительно поставлены, кому ведомы настоящие альтернативы?

Издалеку, далеко

Поэт, как писала Цветаева, издалеку заводит речь. Поэта, как писала она же, далеко заводит речь. Речь заводит его далеко, куда-то, куда он и не думал попасть. Начиная стихотворение, он не знает, чем закончит его. Но *чем-то* закончить его он все-таки

должен, *куда-то* должен все же прийти. Стихотворение вообще есть движение, перемещение из некоей начальной в некую конечную точку. Оно не должно пробуксовывать и повторяться. Ты пишешь – и стихотворение сносит тебя, как течение. Не обязательно вперед, скорее – в сторону. В какую-то совсем другую сторону, до сих пор неведомую тебе. Но как бы далеко ни заходил ты, из какого бы далека ни начинал, между этими обоими далекостями, этими двумя крайностями, должна сохраняться непрерывная, и непрерывно ощущаемая читателем, связь. Сколь огромным ни было бы расстояние между исходной и конечной точкой стихотворения, линия, которую ты прочерчиваешь между ними – а это и есть твое прямое дело – ни в коем случае не должна обрываться. Иными словами, стихотворение, даже самое «сложное», самое «темное», всегда *о чем-то*. Не в том смысле, что всегда можно взять и сказать, о чем оно, как на школьном уроке, скорее наоборот – этого с окончательной определенностью сказать вообще никогда нельзя, поскольку всякое стихотворение всегда *о чем-то еще*, о том-то, о том-то – и *о чем-то еще*, чего из *того-то* и *того-то* вывести невозможно. Если этого *еще чего-то* нет, если оно исчерпывается, стихотворение умирает. Или вообще не начинает жить, остается мертвым, мертворожденным, механическим сцеплением слов. Что с удручающим большинством появляющихся на бумаге или в печати текстов, разумеется, и происходит. Но сколь бы неокончательным, несводимым к чему-то одному и определенному, неуловимым, непостижимым ни был бы «смысл» или «сюжет» стихотворения, или его «тема» или как бы ни называли мы это искомое автором и ощущаемое читателем *единство*, оно, единство, непрерывная линия и *связь целого*, скажем так, должно непременно быть, ощущаться, наличествовать. Если оно есть, вопрос *о чем?* вообще не возникает. А если он не возникает, то не возникает и вопрос *зачем?* Спрашивать не о чем, незачем, все и так понятно. Между тем, стихи без этого *ощутительного единства* порождаются ныне в невероятных количествах, с легкостью необыкновенной. Что стало возможно, конечно, только в двадцатом веке, началось в авангарде, в советской поэзии (с ее «сюжетностью» и усредненным профессионализмом) не допускалось, в постсоветской расцвело ядовитым цветом. Что-то вроде бы намечается, какие-то отдельные строчки проскальзывают, иногда – удачные, изредка – неплохие. Но «целого» нет, нет как будто даже и стремления к нему. Все это выглядит так, как будто стихи возникают из желания *вообще писать*, не из желания написать вот именно это стихотворение, выразить это «чувство» или эту «мысль», передать это «впечатление», нарисовать эту «картину» (все такие слова приходится, конечно, брать в кавычки). Это, вполне

понятное, желание *вообще писать* является, конечно, необходимым, но отнюдь не достаточным условием литературы. Должно появиться что-то более определенное, более конкретное, какой-то исходный *толчок*, или какой-то *стержень*, как раз и придающий единство нашим разрозненным ощущениям, мыслям, воспоминаниям. Появиться же все это может только *само собой*. Его нельзя привлечь, призвать, приманить. Можно только готовить почву, и прежде всего – душевную почву, для его прихода и появления. То есть надо уметь ждать. А ждать не хочется, а ждать вообще трудно. А между тем, зимний день уже клонится к вечеру за окном, и солнце бросает тень соседнего дома, с его крышей и трубами, на другой и тоже соседний, полыхающий, там, где тени нет, всей своей желтизною, и почти серебряными кажутся, в косом свете, только что, и скоро опять, безнадежно черные ветви деревьев.

Обольщающий обман

«Если жизнь тебя обманет, / Не печалься, не сердись! / В день уныния смиришь: / День веселья, верь, настанет. // Сердце в будущем живет; / Настоящее уныло: / Все мгновенно, все пройдет; / Что пройдет, то будет мило.» Что поразительно в этих стихах? Их решительная противоположность всему тому, чему учат нас мудрецы и философы, мистики и религиозные гении... То есть как так? А вот так. Конечно, и они нас учат смирению, но они же учат нас не обольщаться, не предаваться иллюзиям, не поддаваться обманам. Есть ведь только то, что есть *вот сейчас*, все прочее – призраки. Есть только это летучее, неуловимое, всегда исчезающее настоящее, это крошечное *да* между *уже нет* и *еще нет*. Только это и есть, собственно, жизнь – жизнь, которую мы представляем себе замечательной в будущем, прелестной («милой») в прошлом, которая в настоящем «уныла» (или ничтожна, или несносна...). Мы обманываем себя, мы тешим себя надеждой, мы воображаем себе великолепное будущее, которое, однако, едва наступив, оборачивается все тем же, вечно унылым, всегда разочаровывающим нас настоящим. Оно проходит – и снова манит нас, теперь уже своей недостижимостью, невозвратимостью, проходит – и превращается в то прустовское прошлое, над которым мы склоняемся, вспоминая летние какие-нибудь вечера, в нашем детстве, какое-нибудь, в лиловых росчерках, небо над кронами, вкус липового чая с печеньем «мадлен», вкус черного чая с медовыми пряниками... Все

прекрасно в предвосхищающем будущее или воскрешающем прошлое созерцании, все ужасно в действительности. Alle Dinge sind herrlich zu sehen, aber schrecklich zu sein, писал Шопенгауэр. Прекрасно то, что мы видим, мучительно то, что есть. Мы не живем, мы все только собираемся жить, говорит Паскаль, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, все только предполагаем быть счастливыми; удивительно ли, что счастливыми никогда не становимся? Мы усваиваем себе «дурную привычку ожидания», bad habits of expectancy, говорит Филип Ларкин, великий поэт, Россией еще не открытый, мы все ждем и ждем чего-то – и что-то вроде бы приближается к нам, как корабль приближается к берегу, что корабль! целая «армада обещаний», armada of promises, открывается перед нами, вот сейчас они подойдут, и выгрузят все, чего мы ждали так долго, что заслужили своим ожиданием, и все сбудется, все, наконец, свершится. Но подходит только один корабль, с черными парусами, с огромным безмолвием на корме. Он-то, действительно, подойдет, добавим мы от себя, он свое безмолвие выгрузит... Пока он не подошел, мы продолжаем вспоминать и надеяться; мы не живем, не присутствуем *здесь, сейчас*; мы здесь – и не здесь, сейчас – и еще когда-то. Нас как бы и нет, вот в чем дело. Мы не выдерживаем бытия, мы не удерживаемся в настоящем. Wann aber *sind* wir? спрашивает Рильке. Когда же мы действительно *есть*? Так страшно редко; в какие-то совсем отдельные, краткие, хрупкие, незабываемые мгновенья... Разве можно с этим смириться? Со всем, чем угодно, но с этим смириться нельзя. Надо – быть, надо жить настоящим, надо (говорят мистики) отбросить все праздные помыслы и погрузиться в это *вечное сейчас*, в *punctans*, в эту единственную, и божественную, реальность. А раз так, то почему не попробовать *научить себя* пребыванию в настоящем? Как же именно? Есть разные методы, выбирайте любой. И вот мы уже сидим, в одиночестве или в обществе волосатых юнцов, бородатых правдоискателей и пожилых тетенок с восторженными глазами, в дзен-буддистском, к примеру, монастыре, занимаясь тем, что европейцы называют медитацией, что на дзен-буддистском языке называется просто *сидением* – сидим, следовательно, с нарастающей волнами болью в скрещенных ногах, с мурашками, пробегающими от колен к ступням и обратно, упорно глядя в кусок белой стены перед нами, с уже наизусть, через пару часов, знакомыми нам трещинами, пупырьками и тенями пупырок, сидим, считая, к примеру, свое собственное дыхание, десять выдохов и затем еще десять, и еще, и еще, от одного до десяти, от одного до десяти, восемь, девять..., отвлекаясь, конечно, на какие-то посторонние мысли, теряясь в них, забывая счет, забывая себя, вспоминая опять, возвращаясь к себе, начиная

сначала, позволяя этим посторонним мыслям пройти и погаснуть, забывая их, забывая все, даже боль в онемевших ногах, считая и считая выдохи, шесть, семь, восемь... И чего-то мы добиваемся, разумеется, чего-то мы достигаем, и когда выходим на улицу, во двор монастыря или в лес, так видим – дерево, облако, солнце в окнах, водосточный желоб и бочку под ним, с одним-единственным, в воде кружащимся листиком – так видим все это, с таким ощущением своего присутствия *здесь*, и, значит, счастья, согласия и свободы, какое *само собой* дается нам только в редчайшие, лучшие наши минуты. И, наверное, если бы мы все в себе и всего себя подчинили этой задаче, если бы пошли по этому пути, не оглядываясь, то дошли бы, или вновь и вновь, может быть, все чаще и чаще доходили бы до таких сверкающе-снежных вершин, какие теперь лишь манят нас сквозь прочую нашу жизнь. Ведь они, на самом деле, всегда здесь, всегда рядом, ведь мы, на самом деле, всегда уже там, ведь это *там* и есть наше *здесь*, мы лишь все время забываем об этом. «Мир духов рядом, дверь не на запоре, лишь сам ты слеп, и все в тебе мертво...», как сказано в «Фаусте». Мы, однако, *оглядываемся*, отвлекаемся на другое, *выбираем* другое, писание стихов, например, или, вот, писание эссе – о стихах, о восьмистишии, например, в 1825 году записанном Пушкиным в альбом Евпраксии Вульф. И что же видим мы в этом восьмистишии? Полную, с чего мы и начали, противоположность всему вышесказанному. Противоположность, разумеется, в *выводах*. Анализ, если угодно, да простится нам сей неаппетитный термин, совпадает с паскалевским (например), диагноз, если продолжить все ту же неаппетитную терминологию, ставится тот же; лечение прописывается другое. Да, да, сердце живет будущим и тоскует по прошлому, обольщается надеждами и утешается воспоминаниями, настоящего не хочет, не выдерживает, находит унылым – *вот и отлично*. Вот пускай так и будет. Смирись, надейся и вспоминай. Если жизнь тебя обманет... Никакого *если*, на самом деле. Жизнь – обманет, не сомневайся. Она и есть этот обман, она обманывает, заманивает, манит, влечет нас и тешит – надеждами, еще раз, воспоминаниями, скажем снова. Вот и будь обманутым, оставайся обманутым, отдайся обману. День веселья, верь, настанет... Да никогда он, конечно же, не настанет. Но ты все-таки верь. Все мгновенно, все пройдет... Вот и пускай себе проходит, не пытайся ничего удержать, не упорствуй, не мучайся. Здесь чувствуется страшное в Пушкине, здесь читателю вдруг делается не по себе. Это как бы, говоря языком пошлейшим, «голос самой жизни» – но вовсе не в том положительно-патетическом смысле, в каком, заводя глаза, говорят об этом учительницы словесности. Это голос самой жизни, понятой как обман и иллюзия, покрывало Майи, шопенгауэровская воля.

Не «возвышающий», но – «обольщающий», как писал Апухтин, обман. Каковому и мы отдаемся, заканчивая эссе, выходя на улицу, глядя на девушек, у которых альбомов, конечно, нет, которых Евпраксиями, разумеется, не зовут, но которые... ах, которые. В день уныния смиришься, день веселья светится в стеклах.

Примечание к предыдущему

Хорошо, конечно, верующим в *совсем иную жизнь*, для них все не так. Потому что для нас, скорее, в общем, не верующих, получается – как же? Получается, с одной стороны, описанная в предыдущем отрывке структура... неаппетитное снова слово, но пусть... структура сознания, отрывающая нас от того, что действительно *есть*, с другой же усилия по преодолению этой неаппетитной структуры – усилия, которые могут, разумеется, к чему-то привести, но могут ведь и не привести, которые, во всяком случае, уводят нас от всяких других занятий, нам тоже важных и дорогих, которые, наконец, не стоит себя обманывать, превращают нашу жизнь в ежедневно возобновляемую борьбу с самим собой, как и всякая борьба сопряженную, разумеется, с поражениями, отступлениями, возобновлением военных действий. Совсем иначе для верующих. Для них, кто знает? сама эта структура сознания, это свойство человеческого духа не задерживаться на настоящем, но жить будущим и прошлым, не есть источник борьбы и страданий, не есть что-то *подлежащее преодолению*, но для них это свойство, это устройство ума приемлемо – *поскольку не замкнуто пределами земной жизни*. Пусть надежды *здесь* не сбываются, они сами только *образ* надежды нездешней. Той самой надежды «некогда опять в пиру лицейском очутиться, всех остальных еще обнять и новых жертв уж не страшиться», которой Пушкин, оплакав Дельвига, *поздравлял* еще живых лицеистов («живых надеждою поздравим»). Там и прошлое «будет мило» нам не в мадленовых воспоминаниях, но там оно будет, вернее – есть, само и всегда, во всей своей, непреходящей действительности. «Там жив ты, Дельвиг! там за чашей еще со мною шутишь ты» (как писал, на этот раз, Боратынский – писал, кстати, именно о воспоминаниях, о том «Элизии», который «в памяти моей», но мы говорим сейчас о другом Элизии, незапамятном, о тех «Элизийских селениях», которые не обязательно «славить», но в которые как хорошо, наверное, верить). Пускай, значит, жизнь здесь нас обманывает, но этот здешний обман есть, быть может, лишь образ и ответ всеразрешающей тамошней правды...

О «нашей жизни»

«Роман такого-то повествует о нашей жизни на переломе тысячелетий, о непростой современности, в которой герой девяностых пытается найти свое место и роль». Что-нибудь такое, что-нибудь в этом роде. Прочтешь и сразу захлопнешь (книгу, журнал). Невозможно, вообще говоря, объяснить, почему пошлое – пошло. Или вы это чувствуете или вы этого не чувствуете. Или вы понимаете, что «наша жизнь», «роман о нашей жизни», «герой девяностых», «герой нового тысячелетия» и т.д. и т.п. – пошлость или вы этого не понимаете. Люди, по-прежнему задающие тон в литературе, этого, за редкими исключениями, не понимают. Разговор с ними для меня поэтому невозможен. О чем, действительно, говорить? О «нашей жизни»? Но никакой и нет «нашей жизни». Жизнь у каждого человека всегда своя. Потому и литература (настоящая литература) никогда не о «нашем», но всегда о «моем» (твоем, его и ее...). «Наше», если угодно, это то измерение жизни, в котором все опошляется, это мир «всемства», мир хайдеггеровского *das Man*, хайдеггеровского *Gerede*, пустой и опустошающей болтовни. Каковой и предаются, за редкими, опять-таки, исключениями, соответствующие *всемские люди*. Это не совсем мир политики, но близкий к нему и накрепко связанный с ним, мир, в котором «мое» (твое, его...) теряется и гибнет. От политики никуда, конечно, не денешься, но это самая внешняя, самая убогая, самая пошлая сфера человеческого существования, в которой все «глубокое», все «значительное» и «подлинное» профанируется, искажается, уничтожается. «В море человеческой жизни есть такая небольшая заводь, вроде Маркизовой лужи, которая называется политикой», писал Блок. Речь шла о «Двенадцати», о революции, о «стихии», о том, что «моря природы, жизни и искусства разбушевались, брызги встали радугою над нами. Я смотрел на радугу, когда писал «Двенадцать»; оттого в поэме осталась капля политики». К «Двенадцати» и к «стихии» можно, конечно, относиться по-разному, но нечто принципиально важное здесь высказано, хотя и сумбурно. Поэт смотрит всегда «на радугу» и чувствует за собой все «моря» (и природы, и жизни, и искусства); поскольку среди «морей» есть и «Маркизова лужа», то и «капля политики» попадает в его творения; но те, кто только политику, только «наше», *всемское*, «общественное», «социально значимое» в этих творениях и видит, те (цитирую тот же текст) «или очень слепы к искусству, или сидят по уши в

политической грязи, или одержимы большой злобой». Сидящие в луже мало что видят вокруг. А в луже свои страсти, свои споры, крики, дрызги, брызги и шум, комья грязи, кидаемые туда и сюда, свои, как водится, партии, своя, говоря языком самой же лужи, «тусовка». «Жизнь между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, с своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапартом, и вне всех возможных преобразований.» (Толстой, как вы уже догадались, «Война и мир», как вы уже поняли). Мы знаем теперь, что это не так. Если двадцатый век чему-нибудь и научил человечество, так это тому, что политика, если ей позволить, запросто, «за здорово живешь», может вторгнуться в «жизнь людей», со всеми их интересами, и бросить этих людей, со всей их музыкой и любовью, на снег и под пули, и отправить их за колючую проволоку, и заставить их лгать, хитрить и бояться. И что, следовательно, их нужно от политики оберегать, что сфера частного существования нуждается в защите, что цель политики должна состоять, среди прочего, в защите человека от нее же самой. Так можно было писать, сидя в своем родовом поместье, на которое никто никогда не посягал, в окружении тетюшек, дядюшек, чистое дело марш, семейных портретов, недавних крепостных, фамильных преданий. И все-таки в этих словах Толстого высказана некая вечная правда о жизни, о соотношении ее глубинных и поверхностных сфер, существенного и несущественного, настоящего и ненастоящего в ней. «Настоящая жизнь людей» всегда идет все-таки сама по себе, независимо от – «нашей жизни», от «проблем, волнующих общество», от того, «о чем все говорят» и так далее – точно так же, как и «настоящая жизнь литературы», дела сугубо частного, идет своим ходом совершенно независимо от всей критической болтовни о литературном, как его там, «процессе», о «романе девяностых», о «современности», о «нашем времени» и проч. и проч. в том же роде. «Да это правда, князь; в наше время, – продолжала Вера (упомянув о нашем времени, как вообще любят упоминать ограниченные люди, полагающие, что они нашли и оценили особенности нашего времени и что свойства людей изменяются со временем), – в наше время девушка имеет столько свободы, что...» Неважно – что. Важно это свойство ограниченности, отмечаемое Толстым и, поскольку свойства людей со временем меняются очень мало, преспокойно дошедшее до несчастного времени нашего. Однажды начав цитировать «Войну и мир», остановиться, как видим, уже нелегко. Поэтому позволю себе еще одну цитату – из самых известных. «Главное, о чем ему хотелось плакать, была вдруг живо

сознанная им страшная противоположность между чем-то бесконечно-великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам и даже была она. Эта противоположность томила и радовала его во время ее пения.» Это князь Андрей, конечно, сватающийся к Наташе. Вот эту-то «противоположность» читатель, «настоящий», не выдуманный критиками, а живой настоящий читатель, «с своими существенными интересами» – вот ее-то читатель в литературе и ищет, а вовсе не, как думают критики, рассказа о «нашей жизни». Георгий Адамович, к которому тоже, конечно, можно относиться по-разному, усматривал в этих словах ту последнюю «метафизическую» истину, до которой можно дойти, не впадая в спекуляции, ни для кого не обязательные, дальше которой и ходить, значит, незачем. Литература, иными словами, то есть, опять-таки, настоящая литература, хоть и не разрешает «основных экзистенциальных вопросов», и не обязательно даже впрямую ставит их, но она всегда их касается, всегда, пускай по видимости ненароком, говорит «о самом главном». Таков ее, первый из двух, неотменяемый, основной отличительный признак, второй же... Здесь, кажется, самое время процитировать Фридриха Шлегеля, говорившего, что критик – настоящий критик, опять же, каковых вообще бывает мало – должен вновь и вновь напоминать публике некие простые истины, поскольку она постоянно забывает их. Так вот, второй признак, неразрывно связанный с первым, есть, конечно, признак эстетический. Нравится вам это или нет, господа, но искусство именно потому и дает нам то ни с чем не сравнимое чувство счастья, которое оно нам дает, что оно сообщает нам, как выражались в позапрошлом и запозапрошлом веке, переживание, или наслаждение, эстетическое, каковое Набоков (в послесловии к «Лолите») замечательно определил как «особое состояние, при котором чувствуешь себя – как-то, где-то, чем-то – связанным с другими формами бытия, где искусство (т. е. любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг) есть норма. Все остальное – это либо журналистическая дребедень, либо, так сказать, Литература Больших Идей, которая, впрочем, часто ничем не отличается от дребедени обычной...». В какой литературе и задыхается. Что ж удивительного, что она теряет читателя. Читателю не дребедени надобно. Читатель, хоть он время от времени и дает задурить себе голову разными авангардизмами, соцреализмами, постмодернизмами, на самом деле, как искал, так и ищет, и всегда будет искать, в литературе «других форм бытия», восторга и счастья, «метафизики» и «эстетики». Ни о том, ни о другом «наша» критика писать почти не умеет. Воспитанная в Маркизовой луже общественных интересов, она не видит ни моря, ни радуги. Ни критериев оценки, ни вкуса, ни подлинной любви к литературе у

нее, как правило, нет. И вот открываешь какую-нибудь статью, где с привлечением всей тяжелой артиллерии модных имен и понятий рассказывается о том, как такой-то писатель в таком-то романе изобразил «нашу жизнь» и отобразил «проблемы современности», а потом берешь в руки сам роман – с печатью такого убожества на каждой странице, что невольно начинаешь думать, не смеется ли критик над тобой, над собой, над романом, над автором, над человечеством. Все это очень грустно.

«Жертвы века»

Строки, которые всегда были мне отвратительны. «Наверно, вы не дрогнете, / Сметая человека. / Что ж, мученики догмата, / Вы тоже – жертвы века». Это лейтенант Шмидт в одноименной поэме Пастернака говорит на суде, обращаясь к «царским судьям», к «жандармам и охранникам». Только ли к царским? Все-таки никакого такого «догмата», во имя которого они «сметали» бы человека, у «царских сатрапов» не было, зато у не-царских, как известно, был. Не очень важно даже, что думал, сочиняя эти стихи, сам Пастернак, думал ли он в 26 году, когда самые главные ужасы во имя «догмата», по крайней мере с точки зрения приверженцев оногo, или даже «попутчиков» оногo, были еще впереди, но крови было пролито уже немало, думал ли он сам о новых *человекосметателях* – хотя ведь с другой стороны не мог не думать, потому что, повторяю, какие уж такие «догматы» были у «царских сатрапов», какие такие, что наверное все-таки грамотнее, «догмы» у охранников и жандармов? «Догматы» и «догмы» были у сатрапов именно новых, у царевубийц и строителей великой утопии. Потому и в настоящей, исторической речи лейтенанта Шмидта на суде, которую Пастернак в других местах пересказывает довольно точно, этих слов нет. Там есть, например, «столб, у которого» («Я знаю, что столб, у которого я встану принять смерть, будет водружен на грани двух разных исторических эпох нашей родины...»); см. воспоминания сына лейтенанта Шмидта, изданные в 1926 году в Праге, не знаю, переиздававшиеся ли с тех пор), «столб», ради которого Пастернак был вынужден, разрушая ритм, перейти, в одной-единственной строке своего пересказа, с трехстопного ямба на трехстопный же амфибрахий – но никаких «мучеников догмата» и «жертв века» в этой речи вы не найдете. Тем не менее, не так уж и важно, еще раз, что именно, вкладывая эти строки в уста своему лейтенанту, думал сам Пастернак, важно, что они именно так прочитывались и по-прежнему прочитываются – поколения

советских интеллигентов переносили их, о намерениях автора не задумываясь, на новых, конечно же, большевистских жандармов, судей и палачей. «Что ж, мученики догмата, вы тоже – жертвы века...» Жертвы, следовательно, и мученики. Вот, например, Абакумов, любивший *лично* допрашивать («с пристрастием», ясное дело), вот Берия, вот Ягода, и как их еще там, вот те следователи, что с наслаждением давили врагам народа мужские яички своими коваными, до блаженного блеска начищенными, небось, сапогами. Чтоб они дальше, гады, не плодились... Великолепные мученики, отличные жертвы. Перечитайте это место в «Архипелаге», полюбуйтесь на «мучеников». Ну эти-то ни в какие «догматы», конечно, не верили. А верившие? Дзержинский, что ли, «жертва века»? А ведь искренний, говорят, был фанатик, чистейшей души чудовище. Никакого «века» вообще нет, это фикция, *мифология*. Есть люди и их действия, их поступки. За которые они, как существа свободные, то есть способные к различению добра и зла, к выбору между добром и злом, всегда несут полную, личную, никаким «веком» не снимаемую ответственность. Не снимает ее и ослепление «догматом», опьянение идеологией. В том-то и дело, что преступление всегда остается преступлением, неважно, совершается ли оно из низменных побуждений или из каких-нибудь очередных соображений высшего порядка. Эйхман тоже ведь «искренне верил», что «окончательное решение еврейского вопроса» принесет, наконец, избавление «арийской расе», воплощавшей в его глазах все культурные и моральные «ценности». И между прочим, эсэсовцам в концлагерях рекомендовалось жалеть не тех несчастных, которых они отправляли «в газ» или приканчивали каторжным трудом, а самих себя, столь тяжкое бремя взваливших себе на плечи, вынужденных делать такое трудное, такое, ах, неприятное дело. Грязная, конечно, работенка, чего уж там говорить, а мы ведь люди чувствительные, так любим Баха, но надо, надо, партия велела, придется уж, ничего не поделаешь, во имя великой идеи помучаться, придется – принести себя в жертву. Выпьем, товарищ, выпьем, камерад... Нет, никакие они были не «жертвы», и никакого не «века», а были монстры, палачи и убийцы, и называть их «тоже жертвами» значит оскорблять память жертв настоящих, «миллионов убитых задешево». Среди которых тоже, как известно, были прежние палачи. Которые от этого не перестают быть прежними палачами. Но, конечно, не об них идет речь, когда говорят о «тоже жертвах». Эти «тоже жертвы», пока не становились жертвами просто, шли, зажимая свой собственный страх как рану, по жизни и по трупам уверенно, смотрели гордо, сталинскими соколами, гитлеровскими орлами. А между тем, думать о них как о «тоже жертвах» не лишено было, пожалуй, некоторых удобств и выгод.

Душевных выгод и моральных удобств. И мы, значит, жертвы и вы, значит, жертвы. И мы, выходит, мученики, и вы, получается, тоже. Жертвы с жертвами уж как-нибудь, наверное, договорятся, мученики с мучениками найдут, в конце концов, общий язык. Мы вас пожалеем, «жертву»-то как же не пожалеть, пожалейте и вы нас. Некоторых, действительно, пожалели. «Нэ трогайте этого нэбожителя». Не тронули, оставили жить в Переделкино. А сколько было к тому же палачей не палачей, жертв не жертв, но все-таки чуть-чуть палачей и немного жертв одновременно, не совсем согласных, но все же участвовавших в вакханалии, страдавших, а все-таки ставивших свою подпись под коллективным письмом с призывами «беспощадно уничтожить»? А сколько было их в поздние, послесталинские, не столь страшные, но столь же подлые времена? В каком-то смысле даже более подлые, потому что участие в вакханалии уже не оправдывалось прямой угрозой для жизни. При Сталине попробуй не подпиши призыв раздавить троцкистскую гадину, а вот в травле того же Пастернака при Хрущеве можно было и не участвовать. Для участвовавших в том да в сем, «жертвы века» как будто нарочно были придуманы. Потому что с «жертв» какой спрос? Все «жертвы», все хорошо. И советский начальник, удушающий все живое вокруг, разве он не «жертва»? Его ж таким воспитали. И кагэбэшник, за мной следящий – что он такое? «Продукт системы». А чего ждать от «продукта»? Так складывалась благодушнейшая, чудеснейшая, густобровая атмосфера якобы всепрощения, на самом деле – вседозволенности и всеобщей готовности сделать гадость. Снимая ответственность с «них», снимали ее тем самым и с себя. И «они» жертвы, и «мы» – и в наших страданиях, и в наших подлостях, и в нашем искреннем, кто ж спорит, отвращении к «совку», и в нашей готовности, если уж так надо, выступить на партсобрании или хоть процитировать классиков марксизма-кретинизма в наших, вообще-то благородных, «либеральных», посмотрите, каких либеральных писаньях... «Что ж, мученики догмата, вы тоже – жертвы века». Это страшная формула единения, тот фундамент, на котором могла сойтись, встретиться и договориться с преступной властью запуганная ею, и продавшаяся ей, интеллигенция. Пришло, наконец, время сказать всему этому окончательное «прощай». Которое, похоже, говорю я – и еще человек пятнадцать.

Идея книги

Когда-то, теперь уже очень давно, лет двадцать, если не больше, назад, в какую-то московскую, светлую, снежную, смутно мерцавшую за шторами ночь, засыпанье, вхождение в сон вдруг представилось мне как вхождение в книгу, увиделось – еще не во сне, но уже в преддверии сна – как переход с одной страницы на другую страницу, как скольжение по строчкам, по буквам. Каковые страницы были одновременно комнатами; какие-то люди появлялись в них; какие-то произносились слова – слова, которые я слышал и в то же время читал, как диалог в книге, с тире перед каждой новой репликой. Затем были улицы, бесконечно уходившие в темноту, высокие зданья, сугробы, белый снег на полях, сливавшихся со страничными, путанные события, незнакомые лица, ощущение счастья. Вот это ощущение счастья помню отчетливо. С ним я заснул, с ним, кажется, и проснулся. Объяснить его было нетрудно. Превращаясь в книгу, в текст, в слова и фразы, жизнь преобразуется, вся тяжесть из нее исчезает, все ее тяготы, вся боль, все страдания. *Alle Dinge sind herrlich zu sehen, aber schrecklich zu sein*, писал, еще раз процитирую его, Шопенгауэр. Прекрасно то, что мы видим, мучительно то, что есть. Все прекрасно как «эстетический феномен», сколь ужасно ни было бы это «все» «в аспекте бытия». Герой гибнет на сцене – зритель в зале восхищается игрою актеров, или рассматривает декорации, или шепчется с соседкой, или вообще думает о своем. Каково было бы князю Андрею, если бы он «на самом деле» был, лежать там, на Аустерлицком поле, истекая кровью, пускай и под этим бесконечным, высоким небом с ползущими по нему облаками, этим небом, по сравнению с которым все обман, все пустое, но все-таки лежать там, «с брошенным подле него древком знамени», с жгучей и «разрывающей что-то» болью в голове, стонать «тихим, жалостным и детским стоном», лежать, стонать, умирать...; а есть ли в мировой литературе что-нибудь прекраснее этой сцены? Эта сцена, сама по себе, тоже – «небо Аустерлица». Вот эти немногие слова, эти несколько страниц с их вечным небом и ничтожным Наполеоном на фоне вечного неба – все это, само по себе, и есть избавление, победа над страданием, преодоление земной тяжести, «тишина и успокоение». Но, разумеется, избавление неокончательное, если угодно – символическое, следовательно – иллюзорное. Сколько бы книг мы ни написали, как бы ни восхищались написанными, как ни зачитывались бы Толстым (или Прустом, или Томасом Манном...) – мир все-таки остается миром, «юдолью скорби», результатом грехопадения. Отсюда мечта об избавлении реальном, о преобразении самой жизни, о

переходе от создания «только символов» к созиданию нового бытия – все то, следовательно, что русские совсем или отчасти мистики начала двадцатого века именовали «теургией». О «теургии» мы говорить, пожалуй, не будем; вернемся лучше к тому давнему сну, вовсе не «теургическому», но тоже как будто сулившему избавление, дававшему иллюзию избавления неиллюзорного. Во сне мы верим в то, во что наяву поверить не в состоянии. Наяву мы знаем, что книги «всего лишь» книги, что символы «только» символы, во сне все происходит «не понарошке», сон это явь того, что наяву невозможно... Мир существует, чтобы превратиться в книгу, писал Малларме; *le monde existe pour aboutir à un livre*. Наяву это вздор, во сне это правда. Но литература и есть, разумеется, область сна, область несбыточного. Это все дела детские, дремучие, древние, принимать совсем всерьез их не надо, они и сами, может быть, всерьез не принимают себя, но куда длятся – чаруют, спасают. *Le monde existe pour aboutir à un livre*. Не знаю, как мир вообще, но для писателя – поскольку можно говорить о «писателе» в единственном числе – мир, конечно же, существует именно, если не только, для этого, для превращения в книгу, или в несколько книг. Эти книги для него больше значат, чем – какой-то там мир. Они его как бы перевешивают. Книга такая маленькая, а мир такой большой. Но книга все-таки тяжелее. Не – томов премногих, но – миров премногих тяжелей. В книге есть та концентрированная реальность, которой мы в жизни, в мире и наяву достигаем лишь в лучшие, благословеннейшие наши минуты. Книга кажется сгустком реальности, начинающим излучать свою энергию, как только мы ее открываем. Эта сгущенная реальность свойственна не только самим книгам, ею наделены, конечно, и так называемые «образы», так называемые «персонажи». Разве тот же князь Андрей, или Пьер Безухов, или Стива Облонский, не реальнее нас с вами? Нас с вами – нет, тут мы, конечно, не согласимся и за себя постоим, но вон того дядьки с красными ушами уж точно реальнее, вон той тетки в автобусе, читающей подряд все рекламы, что проплывают мимо, исчезая в небытии. А мы ведь хотим бытия, нам его только и надобно... Потому книга, бытия – слиток и реальности – сгусток, не кажется мне «инструментом», хотя бы и «священным», как писал о ней Борхес. Книга, писал он, – самый удивительный из человеческих инструментов. С этим, опять-таки, можно соглашаться или не соглашаться; ноты, на мой взгляд, вещь не менее удивительная (неужели музыка действительно спит в этих загогуликах и крючечках?..). С нотами, однако, имеют дело лишь музыканты, с книгами каждый день все просвещенное человечество. В чем же, спросим себя, их, то есть книг, – удивительность? Среди прочего – в их вопиющем

несходстве с предметами зримого мира. События, отношения, люди, звери, обезьяны и облака, деревья, деревни, мысли о Боге, о счастье, о чем угодно, предметы обихода и даже другие книги – все это таинственным образом зашифровано в черных буквах на белых страницах, в значках и строчках, никакого сходства с облаками и обезьянами не имеющих. Мы так привыкли к этому, что удивляться давно перестали. А удивиться здесь есть чему. Конечно, и художник преобразует то, что рисует (ландшафт ли, портрет ли); однако превращение жизни в слова и буквы, в строчки и фразы, означает разрыв несоизмеримо более глубокий, переход в совсем иной, бесконечно более *дальний* план бытия, из мира вещей в мир смысла, в параллельную, светящуюся смыслом вселенную, в которую мы перескакиваем всякий раз, принимаясь за чтение, тем более за писание. Не перейти ли в нее совсем, навсегда, безвозвратно? Все это, повторяю, дела дремучие, не серьезные, сонные. И тем не менее, мечта о такой, окончательной книге, книге, в которую мир – когда-нибудь, может быть – в каком сне? – превратится, к которой он придет как к своей «цели», своему «концу» – мечта эта оживает вновь и вновь, там и здесь, Малларме с его (так, конечно же, и не написанной) Книгой, le „*livre*“, лишь наиболее полно ее воплотил (вернее *не* воплотил, поскольку она сама, разумеется, невоплотима), отдался ей с наибольшей, насколько я смею судить, безоглядностью. Ничего не вышло, как мы знаем; фрагменты этой «Книги», в пятидесятых годах двадцатого века опубликованные Жаком Шерером (Jacques Scherer), представляют собой что-то в высшей степени странное, почти даже жалкое, какие-то невразумительные чертежи, кружки и стрелы, какие-то расчеты, в том числе и финансовые, планы зала, в котором «Книгу» предполагалась представлять избранной публике, цена за кресло двадцать пять, что ли, франков, подробности освещения, обрывки, осколки, недописанные слова. Читать, по сути, можно только предисловие публикатора. Замечательно при этом, что мысль Малларме движется путем эксклюзивным, путем отказа и отвержения; «Книга» предстает как отрицание всех прочих книг. Прочие книги случайны и субъективны; обстоятельства, при которых они были написаны, личность автора, его предубеждения и вкусы, все это накладывает на них свою роковую печать. Искомая «абсолютная» Книга должна быть от всего этого свободна; ничего субъективного, ничего случайного в ней быть не должно; она получает, следовательно, прежде всего негативные определения (как Бог в «отрицательной теологии»). Ясно, что такой книги быть не может; первое же нанесенное на бумагу слово уже будет как-то связано с личностью автора, значит – «субъективно», каким-то образом соотнесено с конкретными обстоятельствами

писания, с местом, и временем, и историей, в этом смысле – «случайно». Потому такая «абсолютная» Книга остается как бы пределом мысли, чистым листом бумаги. Как бумага проступает из-под букв, между строк, так эта искомая и недостижимая чистота, белизна, безотносительность, неизбежность проступает за всеми словами и фразами – мистическое Ничто, буддистская Пустота. Ее нет – но мечта о разрешении от оков субъективности, от пут случайности, наверное, неистребима. В каком-то сходном направлении мыслил, кажется, и Флобер, с его знаменитым стремлением к «божественной» объективности и безличности (автор в книге как Бог в творении, незрим и всемогущ...), с его же, не менее знаменитой, мечтой написать книгу ни о чем, книгу, которая держалась бы одной «силой стиля». Флобер и Малларме, хотя и не совсем современники, все же люди одной эпохи, одной культуры. Как бы, следовательно, ни стремились они к освобождению от случайного, от всего, что продиктовано обстоятельствами, временем и средой, на самом этом стремлении лежит неизгладимая печать именно их эпохи, французского девятнадцатого века, с его, так пронизательно подмеченной Манделштамом, «чужой кровью», уклоном в буддизм, стремлением к созерцательной статике, к литературной Нирване. Есть другой путь, другая мечта, путь, который можно было бы, в противоположность буддистско-французскому, назвать инклюзивным, не отвергающим, но включающим, принимающим, в противоположность «негативной теологии» – «пантеистическим». Ни одна книга, конечно, не абсолютна, не окончательна, но, может быть, все вместе, в конечном счете, в последнем пределе и создают (создадут) тот абсолютный, «безусловный» текст, которым ни одна из них, сама по себе, быть не может. История ведь всякий раз начинается заново. Каждое поколение снова думает о Боге, о бытии, о смерти, о счастье. Сколько книг, столько попыток приблизиться к окончательной книге, абсолютному тексту. Не обязательно даже в том фантастическом смысле, что все пишут как бы одну какую-то большую книгу, у которой, соответственно, один автор, один «джентльмен», как выразился Эмерсон и повторил за ним Борхес, но скорее в том – а впрочем, не менее фантастическом, что, хотя книги разные и авторы разные, каждый и каждая, на свой лад, пытается дорасти, дотянуться, *дописаться* до той последней, невозможной, окончательной книги, после которой уж, наверное, наступит если не «новая земля, новое небо», то, во всяком случае, что-то, чего мы *отсюда* и вообразить себе не способны. При таком взгляде и случайность, и субъективность оправданы, личность спасена, любовь к относительному возможна. Все это, еще раз, мозговые игры, несбыточные мечты, гипнагогические грезы. В пору моей собственной

грезы, снежного сновидения, пробиравшегося сквозь московскую ночь, мне ближе был первый ход мысли; случайность меня удручала; стремление к чистоте мной владело. Об «абсолютной Книге» я, разумеется, не мечтал, но в своих собственных прозаических опытах пытался все же начать с какого-то... да, абсолютного, если угодно, начала, вынести мир за скобки, писать так, как будто ничего еще не было, и не было написано ничего, как будто только то и имеет право на существование внутри моего текста, что я сам же *expressis verbis* введу в этот текст, в создаваемый мною, как бы заново, мир, не исходить из предпосылки уже данной, для «всех» общей, одной и той же действительности, но построить ее еще раз, по собственным, мною же и полагаемым законам. Это был, говоря философским, от коего я с тех пор отвык, языком, род «феноменологической редукции», гуссерлианского «эпохэ». Опьянение трезвостью, картезианская юность... Из чего, разумеется, следует, что томик Валери всегда был у меня под рукою, и господин Тэст вел, со мной тоже, свою нескончаемую ночную беседу. Но *tempora*, как известно, *mutantur et nos mutamur in illis*. Времена меняются, и мы меняемся в них. Вторая мечта с годами мне сделалась ближе. Искомое кажется теперь не отрицанием, но продолжением прошлого, случайное не помехой на пути к неизбежному, но скорее самим путем. Если угодно, это – своего рода смирение.